

Виктор Астафьев

Веселый солдат (фрагмент)

Светлой и горькой памяти дочерей моих Лидии и Ирины.

Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!

Н. В. Гоголь

Часть первая

Солдат лечится

Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. Немца. Фашиста. На войне.

Случилось это на восточном склоне Дуклинского перевала, в Польше. Наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона, во взводе управления которого я, сменив по ранениям несколько военных профессий, воевал связистом переднего края, располагался на опушке довольно-таки дремучего и дикого для Европы соснового леса, стекавшего с большой горы к плешинкам малоуродных полей, на которых оставалась неубранной только картошка, свекла и, проломанная ветром, тряпично болтала жухлыми лохмотьями кукуруза с уже обломанными початками, местами черно и плешисто выгоревшая от зажигательных бомб и снарядов.

Гора, подле которой мы стали, была так высока и крутоподъемна, что лес редел к вершине ее, под самым небом вершина была и вовсе голая, скалы напоминали нам, поскольку попали мы в древнюю страну, развалины старинного замка, к вымоинам и щелям которого там и сям прицепились корнями деревца и боязно, скрытно росли в тени и заветрии, заморенные, кривые, вроде бы всего — ветра, бурь и даже самих себя — боящиеся.

Склон горы, спускаясь от гольцов, раскатившийся понизу громадными замшелыми камнями, как бы сдавил оподолье горы, и по этому оподолью, цепляясь за камни и коренья, путаясь в глушине смородины, лещины и всякой древесной и травяной дури,

выключившись из камней ключом, бежала в овраг речка, и чем дальше она бежала, тем резвей, полноводней и говорливей становилась.

За речкой, на ближнем поле, половина которого уже освобождена и зелено светилась отавой, покропленной повсюду капельками шишечек белого и розового клевера, в самой середине был сметан осевший и тронутый чернью на прогибе стог, из которого торчали две остро обрубленные жерди. Вторая половина поля была вся в почти уже пониклой картофельной ботве, где подсолнушкой, где ястребинкой взбодренная и по меже густо сорящими лохмами осота.

Сделав крутой разворот к оврагу, что был справа от наблюдательного пункта, речка рушилась в глубину, в гущу дурмана, разросшегося и непролазно сплетенного в нем. Словно угорелая, речка с шумом вылетала из тьмы к полям, угодливо виляла меж холмов и устремлялась к деревне, что была за полем со стогом и холмом, на котором он высился и просыхал от ветров, его продуваемых.

Деревушку за холмом нам было видно плохо — лишь несколько крыш, несколько деревьев, востренький шпиль костела да кладбище на дальнем конце селенья, все ту же речку, сделавшую еще одно колено и побежавшую, можно сказать, назад, к какому-то хмурому, по-сибирски темному хутору, тесом крытому, из толстых бревен рубленному, пристройками, амбарами и банями по задам и огородам обсыпанному. Там уже много чего сгорело и еще что-то вяло и сонно дымилось, наносило оттуда гарью и смолевым чадом.

В хутор ночью вошла наша пехота, но сельцо впереди нас надо было еще отбивать, сколько там противника, чего он думает — воевать дальше или отходить подобру-поздорову, — никто пока не знал.

Наши части окапывались под горой, по опушке леса, за речкой, метрах от нас в двухстах шевелилась на поле пехота и делала вид, что тоже окапывается, на самом же деле пехотинцы ходили в лес за сухими сучьями и варили на пылких костерках да жрали от пуза картошку. В деревянном хуторе еще утром в два голоса, до самого неба оглашая лес, взревели и с мучительным стоном умолкли свиньи. Пехотинцы выслали туда дозор и поживились свежатиной. Наши тоже хотели было отрядить на подмогу пехоте двух-трех человек — был тут у нас один с

Житомирщины и говорил, что лучше его никто на свете соломой не осмолит хрюшку, только спортит. Но не выгорело.

Обстановка была неясная. После того как по нашему наблюдательному пункту из села, из-за холма, довольно-таки густо и пристрелянно попужали разика два минометами и потом начали поливать из пулеметов, а когда пули, да еще разрывные, идут по лесу, ударяются в стволы, то это уж сдается за сплошной огонь и кошмар, обстановка сделалась не просто сложной, но и тревожной.

У нас все сразу заработали дружнее, пошли в глубь земли быстрее, к пехоте побежал по склону поля офицер с пистолетом в руке и все костры с картошкой распинал, разок-другой привесил сапогом кому-то из подчиненных, заставляя заливать огни. До нас доносило: «Раздолбай! Размундяи! Раз...», ну и тому подобное, привычное нашему брату, если он давно пребывает на поле брани.

Мы подзакопались, подали конец связи пехоте, послали туда связиста с аппаратом. Он сообщил, что сплошь тут дядьки, стало быть, по западно-украинским селам подметенные вояки, что они, нажравшись картошек, спят кто где и командир роты весь испсиховался, зная, какое ненадежное у него войско, так мы чтоб были настороже и в боевой готовности.

Крестик на костеле игрушечно мерцал, возникая из осеннего марева, сельцо обозначилось верхушками явственней, донесло от него петушины крики, вышло в поле пестренькое стадо коров и смешанный, букашками по холмам рассыпавшийся табунчик овец и коз. За селом холмы, переходящие в горки, затем и в горы, далее — грузно залегший на земле и синей горбиной упершийся в размытое осенней жижей поднебесье тот самый перевал, который перевалить стремились русские войска еще в прошлую, в империалистическую, войну, целясь побыстрее попасть в Словакию, зайти противнику в бок и в тыл и с помощью ловкого маневра добыть поскорей по возможности бескровную победу. Но, положив на этих склонах, где мы сидели сейчас, около ста тысяч жизней, российские войска пошли искать удачи в другом месте.

Стратегические соблазны, видимо, так живучи, военная мысль так косна и так неповоротлива, что вот и в эту, в «нашу» уже, войну новые наши генералы, но с теми же лампасами, что и у «старых» генералов, снова толклись возле Дуклинского перевала, стремясь перевалить его, попасть в Словакию и таким вот ловким, бескровным маневром отрезать гитлеровские войска от Балкан,

вывести из войны Чехословакию и все Балканские страны, да и завершить поскорее всех изнурившую войну.

Но немцы тоже имели свою задачу, и она с нашей не сходилась, она была обратного порядка: они не пускали нас на перевал, сопротивлялись умело и стойко. Вечером из сельца, лежащего за холмом, нас пугнули минометами. Мины рвались в деревьях, поскольку ровики, щели и ходы сообщений не были перекрыты, сверху осыпало нас осколками — на нашем и других наблюдательных пунктах артиллеристы понесли потери, и немалые, по такому жиденькому, но, как оказалось, губительному огню. Ночью щели и ровики были подрывы в укос, в случае чего от осколков закатись под укос — и сам тебе черт не брат, блиндажи перекрыты бревнами и землей, наблюдательные ячейки замаскированы. Припекло!

Ночью впереди нас затеплилось несколько костерков, пришла сменная рота пехоты и занялась своим основным делом — варить картошку, но окопаться как следует рота не успела, и утром, только от сельца застреляли, затрещали, на холм с гомоном взбежали россыпью немцы, наших будто корова языком слизнула. Обожравшаяся картошкой пехота, побрякивая котелками, мешковато трусила в овраг, не раздражая врага ответным огнем. Какой-то кривоногий командиришко орал, палил из пистолета вверх и по драпающим пальнул несколько раз, потом догнал одного, другого бойца, хватал их за ворот шинели, то по одному, то двоих сразу валил наземь, пинал. Но, полежав немного, дождавшись, когда неистовый командир отвалит в сторону, солдаты бегли дальше или неумело, да шустро ползли в кусты, в овраг.

Боевые эти вояки звались «западниками» — это по селам Западной Украины заскребли их, забрили, немножко подучили и пихнули на фронт.

Изъезженная вдоль и поперек войнами, истерзанная нашествиями и разрухами, здешняя земля давно уже перестала рожать людей определенного пола, бабы здешние были храбрее и щедрее мужиков, характером они скорее шибали на бойцов, мужики же были «ни тэ ни сэ», то есть та самая нейтральная полоска, что так опасно и ненадежно разделяет два женских хода: когда очумелый от страсти жених или просто хахаль, не нацелясь как следует, угодит в тайное место, то так это и называется попасть

впросак. Словом, была и осталась часть мужская этой нации полумужиками, полуукраинцами, полуполяками, полумадьярами, полубессарабами, полусловаками и еще, и еще кем-то. Но кем бы они ни были, воевать они в открытую отвыкли, «всех врагов» боялись, могли «бытись» только из-за угла, что вскорости успешно и доказали, после войны вырезая и выбивая друг дружку, истребляя наше оставшееся войско и власти битьем в затылок.

В общем, «западники» драпанули в овраг и снова как ни в чем не бывало начали там варить и печь картошку, тем более что выгонять их из оврага было некому: кривоногого лейтенанта, командира роты, как скоро выяснилось, меткий немецкий пулеметчик снисходительной короткой очередью уложил в картошку на вечный покой, взводных в роте ни одного не осталось.

* * *

Пока мы, взвод артиллерийского дивизиона, умаянные ночной работой, просыпались, очухивались, немцы холмик перевалили, оказались у самого нашего носа и окапывались уже по краям клеверного и картофельного полей, ожидая, вероятно, подкрепления. Но тут со сна, с переполоху открылся такой огонь, такой треск поднялся, что немцы сперва и окапываться перестали, потом, видя, что мы палим в белый свет как в копеечку, снова заработали лопатками. Кто-то из наших командиров уже бежал вдоль опушки, и кричал, и стонал: «Прицелы! Прицелы, растуды вашу туды!» Я глянул на прицел карабина и тоже изругался: прицел стоял на «постоянном» — в кого тут попадешь?! Сдвинул скобу на цифру пятьсот и вложил новую обойму.

Немцы перебежками пошли вперед, приближаясь к лесу. Мне, да и всем, наверное, казалось, что расстояние между нами и ними сокращалось уж как-то слишком быстро, но слева от дороги, где был наблюдательный пункт штаба бригады, заработали два станковых и несколько ручных пулеметов. Немцы залегли, начали продвигаться вперед по-пластунски, еще бросок — и тут, в лесу, мы или тоже драпанем, или уж зубы в зубы — у нас такое бывало. На Днепре, брошенные пехотой, мы схватывались с немцами на наблюдательном лоб в лоб, зубы в зубы — мне та драчка снится до сих пор.

Я начал переводить планку на двести пятьдесят метров и услышал команды, доносившиеся из блиндажа командира дивизиона. «Залечь! Всем залечь!» — разнеслось по опушке. Прекратив огонь, мы попадали на дно ячеек щелей, ходов сообщений. Немцы подумали, что мы тоже драпанули, как наша доблестная пехота, поднялись, радостно загомонили, затрещали автоматами — и тут их накрыло залпом гаубиц нашего и соседнего дивизионов. Не знали немцы, что за птицы на опушке-то расположились, что не раз уж этим артиллеристам приходилось быть открываемыми пехотой и отбиваться самим, и никогда так метко, так слаженно не работали наши расчеты: ведь малейший недоворот, недочет — и мы поймаем свои снаряды. Но там же «наших бьют», а многие «наши» шли вместе от русской реки Оки и до этой вот польской бедной земли, знали друг друга не только в лицо, но и как брата знали — брата по тяжелым боям, по непосильной работе, по краюшке хлеба, по клочку бинта, по затяжке от сигарки.

Нас было уже голой рукой не взять, мы многому научились и как только наладили прицельный огонь из личного оружия, немцу пришлось залезать обратно в картошку, в низко отрытые нашей пехотой окопчики и оттуда мстительно щелкать по сосняку разрывными пулями. Снова начали работать из сельца минометы, и снова у нас сразу же закричали там и сям раненые, сообщили, что два линейных связиста убиты. Огонь наших батарей перенесли за холм, на сельцо. Донесся слух, что сам комбриг велел накрыть минометы хорошим залпом. Залп дали, но минометы не подавили. Комбриг заорал: «Это не залп, а дрисня!» Тут же вызвал на провод нашего командира дивизиона. «Бахтин, а Бахтин, — сдерживаясь изо всех сил, глухо и грустно заговорил комбриг. — Если мы будем так воевать и дальше — к вечеру у нас не останется бойцов и нам с тобой да с моими доблестными помощниками самим придется отбиваться от этих вшивиков... — И, подышав, добавил: — Учти, ты — крайний справа, у самого оврага, заберутся немцы в овраг — несдобровать тебе первому...»

Пошла совсем другая война, организованная. Но, как говорится, на орудия и на командира надейся, да сам не плошай. Орудия молотили, молотили по сельцу и зажгли там чего-то. Потом корректировщик забрался на сосну, и пока немцы в картошке

заметили его, минометная батарея уже заткнулась, трубы ее лежали на боку, обслуга кверху жопой.

Я же лично долго вел войну вслепую, тужась поразить как можно больше врагов, и тыкал карабином то туда, то сюда, уже по щиколотку стоял в своей щели в пустых горячих гильзах, руки жгло карабином, масло в замке горело, а уверенности, что я ухряпал или зацепил хоть одного немца, не было.

Наконец, уяснив, что всех врагов мне одному не перебить, я уцепил на прицел определенного немца. Судьба его была решена. Перебрав и перепробовав за время пребывания на передовой всякое оружие — как наше, так и трофейное, — я остановился на отечественном карабине как самом ловком, легком и очень прицельном стрелковом оружии. Стрелял я из него давно и метко. Днями, желая прочистить заросшую дыру в карабине, я заметил заливающегося на вершине ели молодого беззаботного зяблика, прицелился и разбил его пулей в разноцветные клочья. Разбил птичку — и зареготал от удовольствия. Кто-то из старых вояк сказал: «Болван, эт-твою мать!» Я еще громче зареготал и похлопал по заеложной об мой зад ложе: «Во, братишка, лупит!»

Немец, мною намеченный, чаще других поднимался из картошки и бросками, то падая, то ложась, бежал за скирду клевера. На отаве клевера, яркой, как бы осыпанной комочками манной кашицы, новоцветом, он полз, и довольно быстро, потом вскакивал и опрометью бросался в укрытие, за скирду. На спине его, прицепленный к ранцу, взблескивал котелок. Я поставил планку на триста пятьдесят метров и несколько раз выстрелил по этому котелку, когда немец лежал в картошке. Попадало, должно быть, близко, но не в солдата, видать малоопытного, иначе давно бы он снял ранец с котелком — мишень на спину опытный солдат никогда себе навесить не позволит.

Скорее всего, немец этот был связным. Там, за скирдой, сидел командир роты или взвода и посредством связного отдавал распоряжения в цепи. Залегшие и уже хорошо окопавшиеся в картошке, все более и более растягивающиеся левым крылом роты к оврагу, наши связные уже сбегали по оврагу и речке к хутору, расположенному справа, сообщили обстановку, и оттуда отсекающим от леса огнем били пулеметы и, как было сообщено, налаживалась атака силами батальона да еще выловленных в оврагах «западников» и двух или четырех танков.

Ну, «силами батальона» звучит громко, в батальоне том если осталось человек восемьдесят, так и то хорошо, а «западники» — они пройдут до поля и залягут, ведя истребительный огонь. Вот если танки, пусть и два будут, да наши ахнут из гаубиц — тогда, пожалуй, противнику несдобровать. Но пока он, немец с котелком, залег в картошке, припал за бугорком, ровно бы кротом нарытым, и не шевелится — убил я его уже? Или еще нет? На всякий случай держу на мушке. И вот он, голубчик, выдал себя, вскочил, побежал согнувшись, готовый снова ткнуться за бугорочек. Но я поймал на мушку котелок, опор ложей сделал к плечу вплотную, мушку довел до среза и плавно нажал на спуск.

Немец не дотянул до следующего бугорка два-три метра и, раскинув руки, словно неумелый, напуганный пловец, упал в смятую, уже перерытую картошку. Я передернул затвор, вогнал новый патрон в патронник и неумолимо навис над целью дулом карабина.

Но немец не шевелился и более по полю не бегал и не ползал. Я еще и еще палил до обеда и после обеда. Часа в четыре из хутора вышли два танка, за ними засуетились расковыранным муравейником пехотинцы, ударили наши орудия, жажнули мы из всего и чем могли, и немцы, минуя село, из которого утром пошли в атаку, потому что там тоже какая-то стрельба поднялась, не перебежками, россыпью рассеянной, молчаливой толпой бросились бежать за холм и дальше, тут и скирда сырого клевера, которую весь день зажигали пулями и не могли зажечь, густо задымила, бело и сыро, потом нехотя занялась.

Я нашел «своего» немца и обрадовался меткости. Багровое пятно, похожее на разрезанную, долго лежавшую в подвале свеколку, темнело на сереньком пыльном мундире, над самым котелком. По еще не засохшей, но уже вязко слипшейся в отверстии крови неземным, металлически отблескивающим цветком сидели синие и черные толстые мухи, и жуки с зеленой броней на спине почти залезли в рану, присосались к ней, выставив неуклюжие круглые зады, под которыми жадно скреблись, царапались черные, грязные, резиновой перепонкой обтянутые лапки с красно измазанными острыми коготками.

Я перевернул уже одеревенелое тело немца. После удара пули он еще с полминуты, может, и более жил, еще царапал землю, стремясь уползти за бугорок, но ему досталась убойная пуля. В

обойме русской винтовки пять пуль (карабин — это укороченная, модернизированная винтовка), четыре из пяти пуль с окрашенными головками: черная — бронебойная, зеленая — трассирующая, красная — зажигательная, белая — не помню, от чего и зачем. Должно быть, разрывная. Пятый патрон — обыкновенный, ничем не окрашенный, на человека снаряженный. В бою мне было не до того, чтобы смотреть, какой патрон и на кого в патронник вгоняю. Выход на груди немца был тоже аккуратен — не разрывной, обыкновенной смертельной пулей сокрушил я врага. Но все же крови на мундире и под мундиром на груди было больше, чем на спине, вырван наружу клочок мундира, выдрана с мясом оловянная пуговица на клапане, вся измазанная загустелой кровью и болтавшаяся вроде раздавленной вишенки с косточкой внутри.

Немец был пожилой, с морщинистым худым лицом, обметанным реденькой, уже седеющей щетиной; глаза его, неплотно закрытые, застыло смотрели мимо меня, в какую-то недостижимую высь, и весь он был уже там где-то, в недоступных мне далях, всем чужой, здесь ненужный, от всего свободный. Ни зла, ни ненависти, ни презрения, ни жалости во мне не было к поверженному врагу, сколько я ни старался в себе их возбудить.

И лишь: «Это я убил его! — остро протыкало усталое, равнодушное, привычное к мертвецам и смертям сознание. — Я убил фашиста. Убил врага. Он уже никого не убьет. Я убил. Я!..»

Но ночью, после дежурства на телефоне, я вдруг заблажил, что-то страшное увидев во сне, вскочил, ударился башкой о низкий настил-перекрытие из сосновых сучков на своей щели. Попив из фляги воды, долго лежал в холодной осенней земле и не мог уснуть, телом ощущая, как, не глубоко мною зарытый в покинутом окопчике, обустроивается навечно в земле, чтобы со временем стать землею, убитый мною человек. Еще течет меж пальцев рук, в полураскрытые глаза и в рот мертвеца прах скудного рыхлого, прикарпатского крестьянского поля, осыпается комочками за голову, за шею, гасит последний свет в полусмеженных глазах, темно-синих от мгновенной сердечной боли, забивает в последнем крике разжатый рот, в котором не хватало многих зубов и ни золотые, ни железные не были вставлены взамен утраченных.

Бедный, видать, человек был — может, крестьянин из дальних неродовитых земель, может, рабочий с морского порта. Мне

почему-то все немецкие рабочие представлялись из портов и горячих железоделательных заводов.

Тянет, обнимает земля человека, в муках и для мук рожденного, мимоходом с земли смахнутого, человеком же убитого, истребленного. Толстозадые жуки с зелеными, броневыми, нездешними спинами роют землю, точат камень, лезут в его глубь, скорей, скорей, к крови, к мясу. Потом крестьяне запашут всех, кто пал на этом поле, заборонят и снова посадят картошку и клевер. Картошку ту будут варить и есть с солью, запивать ее сладким, густым от вкусного клевера молоком; под плуг попадут гнезда тех земляных жуков, и захрустят их броневые, фосфорической зеленью сверкающие крылья под копытами коня, под сапогами пана крестьянина.

Нечего сказать, мудро устроена жизнь на нашей прекрасной планете, и, кажется, «мудрость» эта необратима, неотмолима и неизменна: кто-то кого то все время убивает, ест, топчет, и самое главное — вырастил и утвердил человек убеждение: только так, убивая, поедая, топча друг друга, могут сосуществовать индивидуумы земли на земле.

Немец, убитый мною, походил на кого-то из моих близких, и я долго не мог вспомнить — на кого, убедил себя в том, что был он обыкновенный и ни видом своим, ни умом, наверное, не выдававшийся и похож на всех обыкновенных людей.

* * *

Через несколько дней, с почти оторванной рукой, выводил меня мой близкий друг с расхлестанной прикарпатской высоты, и, когда на моих глазах в клочья разнесло целую партию раненых, собравшихся на дороге для отправки в медсанбат, окопный дружок успел столкнуть меня в придорожную щель и сверху рухнуть на меня, я подумал: «Нет, «мой» немец оказался не самым мстительным...»

Дальше, вплоть до станции Хасюринской, все помнится пунктирно, будто ночная пулеметная очередь — полет все тех же четырех бесцветных пуль, пятая — трассирующая, пронзающая тьму и дальнюю память тревожным, смертельным светом.

Безобразно доставляли раненых с передовой в тыл. Выбыл из строя — никому не нужен, езжай лечись, спасайся как можешь. Но

это не раз уже описано в нашей литературе, и мною в том числе. Перелистну я эту горькую страницу.

Надеялись, на железной дороге будет лучше. Наш железнодорожный транспорт даже в дни развалов и разрух, борьбы с «врагами народа», всяческих прогрессивных нововведений, перемен вождей, наркомов и министров упорно сохранял твердое, уважительное отношение к человеку, особенно к человеку военному, раненному, нуждающемуся в помощи. Но тут была польская железная дорога, расхлябанная, раздрызганная, растасканная, как и само государство, по переменеке драное то тем, то другим соседом и по этой причине вконец исторговавшееся. «Придут немцы, — говорилось в услышанной здесь притче, — будут грабить и устанавливать демократию; придут москали — будут пить и ...ть беспощадно. Так я советую паньству, — наставлял свой приход опытный пастырь, — не отказывать москалям, иначе спалят, но делать это с гонором — через жопу». Так они и поступают до сих пор — все у них идет через, зато с гонором. Паровозишко тащил какой-то сброд слегка починенных, хромых вагонов. Раненые падали с нар и по той причине все лежали на грязном, щелястом полу. Брал с места паровозишко, дернув состав раз по пяти, суп из котелков выплескивался на колени, ошпаренные орали благим матом, наконец наиболее боеспособные взяли костыли и пошли бить машиниста.

Но он уже, как выяснилось, бит, и не раз, всевозможными оккупантами. Быстро задвинув дверь паровоза на крепкий засов, опытный машинист высунулся в окно и траванул пламенную речь, мешая польские, украинские и русские слова, в том смысле, что ни в чем он не виноват, что понимает все, но и его должны понять: из этого государства, пся его крев, которое в первый же день нападения немцев бросил глава его, самонаградной маршал Рыдз-Смиглы, изображавший себя на картинах и в кино с обнаженной боевой саблей, начищенным сапогом, попирающим вражеское знамя, смылся в Румынию вместе с капиталами и придворными блядьми, бросив на произвол судьбы ограбленный народ. Какой в таком государстве, еще раз пся его крев, может быть транспорт, какой, сакраментска потвора порядок? Если москали хотят побить его костылями, то пусть бьют правительства, их сейчас в Польше до хуя — он так и произнес нетленное слово, четко, по-русски, только ударение сделал не на «я», как мы, а на «у». О-о, он уже

политически подкован, бит немецкими прикладами, обманут советскими жидами, заморочен политиками и до того освобожден, что порой не знает, в какую сторону ехать, кого и куда везти, к кому привыкать — все, курва-блядь, командуют, грозятся, но поить и кормить никто не хочет. Вот уголь и паек дали на этот раз «радецкие» — он и поехал в сторону «радецких», раньше давали все это немцы — он и ехал в сторону немецкую.

* * *

До Львова и путь недолог, но многие бойцы успели бойко поторговать, продали и трофеишки, и с себя все, что можно. Со станции Львов в сортировочный госпиталь брела и ехала, осыпаемая первой осенней крупкой, почти сплошь босая, до пояса, где и выше, раздетая толпа, скорее похожая на сборище паломников иль пленных, нежели на бойцов, только что пребывавших в регулярном сражающемся войске. У меня был тяжелый выход с передовой, из полуокружения — еще тяжелее, езда в машинах по разбитой танками дороге, короткая передышка на походных санитарных эвакуопунктах почти не давали успокоения и отдыха, ехал я по Польше в жару, торгом заняться не мог. У меня было две полевых сумки: в одну ребята натолкали бумаги, карандашей, чтоб писал им, позолоченные зажигалки, часишки, еще что-то, чтоб продал и жил безбедно. Эту сумку у меня украли на первом же санпункте, где спал я полубеспамятным сном. В другой сумке были мои «личные» вещишки — мародеры из спекулянтов или легко раненные порылись, выбрали что «поценней» и бросили мне ее в морду; пробовали в потемках стянуть сапоги, но я проснулся и засипел сожженной глоткой, что застрелю любого, кто еще дотронется до сапог. Это были мои первые добротнo и не без некоторого даже форса сшитые сапоги.

В бою под Христиновкой наши войска набили табун танков. Я, как связист, был в пехоте с командиром-огневи́ком, на корректировке огня. Когда бой прекратился и малость стемнело, я одним из первых ворвался в «ряды противника» и в трех несгоревших немецких танках вырезал кожаные сиденья. Кожу с сидений я отдал одному нашему огневику, тайно занимавшемуся в походных условиях сапожным ремеслом и зарабатывающему право не копать, не палить, орудие не чистить, только обшивать и

наряжать артиллеристов. Бойцы нашей бригады в немалом числе уже щеголяли в добротных сапогах, а я все шлепал вперед на запад в ботинках-скороходах. Какая война в ботинках, с обмотками, особенно осенью? Кто воевал, тот знает. Кожи из танков хватило бы на четверо сапог, а наш сапожник, производивший тройной, если не четверной, обмен кож на гвозди, подковы, шпильки, стельки и, главное, подметки — и все это на ходу, в движении, в битве! — стачал мне такие сапоги, что весь наш взвод ахнул. Первый раз в моей жизни новая обувь нигде не давила, не терзала мои костлявые ноги, все-то было в пору, да так красиво, главное — подметки были из толстой, красной, лаково блестящей кожи!

Какой-то чешский эскадрон имел неосторожность расположиться неподалеку от наших батарей, и пока чех-поручик на расстеленной салфетке пил кофе, наши доблестные огневики сняли с его коня новенькое седло, изготовленное на советском Кавказе. Поручик долго не мог понять: куда исчезло седло и что это за такое незнакомое русское слово «украли»? И тогда кто-то опять же из огневиков обнадеживающе похлопал чеха по плечу: «Ничего, ничего. Придем к вам, объясним и научим!»

Вот какие у меня были сапоги! Я под тем же Львовом драпал с одной высоты. На рассвете было, в августе месяце. Я спал крепким сном, в два часа ночи сменившись с поста. Но спать в обуви я не мог, и когда началась паника и все побежали и забыли про имущество — даже стереотрубу забыли, позорники, — меня, спящего в щели на краю пшеничного поля, забыли. Один мой дружок, ныне уже покойный, все же вернулся, растолкал меня, и я начал драпать с сапогами в одной руке, с карабином в другой. Танки уже по пшенице колесили, немцы строчили из хлебов, но я сапоги не бросил и карабин не бросил.

Но как я поступил во львовский распределительный госпиталь, сердце мое оборвалось: тут не до сапог, тут дай бог жизни не потерять.

Распределитель размещался в какой-то ратуше, думе, собрании или ином каком внушительном здании. Многоэтажный дом был серого цвета, по стенам охваченный древней прозеленью. Комнаты в нем были огромны, каменные залы гулки, с росписями по потолку и по стенам. Я угодил в залу, где на трехэтажных деревянных топчанах, сооруженных и расставленных здесь еще немцами, располагалось до двухсот раненых; и если в углу, возле

окон, на крайних топчанах заканчивался завтрак, у дверей уже начинали раздавать обед, и нередко, приподняв одеялишко, прикрывающее солдатика на нарах, санитары, разносившие еду, тихо роняли: «Этому уже ничего не надо», — и по кем-то установленному закону или правилу делили меж ранеными пайку угасшего бедолаги — на помин души.

Отсюда раненых распределяли в санпоезда и отправляли на восток — вечный шум, гам, воровство, грязь, пьянство, драки, спекуляция.

У санпоездников правило: не принимать на эвакуацию тех бойцов, у которых чего-либо не хватает из имущества, даже если нет одной ноги — ботинки должны быть парой, такова инструкция санупра. Кое-что выдавалось здесь, со складов ахового распредгоспиталя, и склады те напоминали широкую городскую барахолку. На них артелями, точнее сказать бандами, орудовали отъевшиеся, злые, всегда полупьяные мужики без наград и отметок о ранениях на гимнастерках. Они не столь выдавали, сколь меняли барахлишко на золото в первую голову, на дорогие безделушки, даже на награды и оружие. Думаю, не один пистолет, не одна граната через те склады, через тех тыловиков-грабителей попали в руки бандеровцев. Здесь можно было месяцами гнить и догнивать из-за какой-нибудь недостающей пилотки, ботинка или подштанников. Ранбольные бушевали, требовали начальство для объяснений.

Являлась дамочка, золотом объятая, с тугими икрами, вздыбленной грудью, кудрявой прической, блудно и весело светящимися глазами, — во всем ее облике, прежде всего в том, как она стояла, наступательно выставив ножку в блестящем сапоге, явно сквозило: «Ну, я — блядь! Руководящая блядь! И горжусь этим! И презираю вас, вшивоту серую...»

— Спа-акойно! Спа-акойно, товарищи! Всех эвакуируем. Всех! — напевая, увещевала начальница и, как-то свойски, понимающе сощутив блудный глаз, не то фамильярно подмигивая, не то пронзая им, добавляла: — Мы-то тут при чем? Госпиталь-то наш при чем? Вы сами распродали в пути и пропили свое имущество. Ка-азенное! Ба-а-айевое! А я санпоездами, извините, не командую. Я бы рада сегодня, сейчас всех вас, голубчиков, эвакуи-и-ировать, определить, лечить, но... — Тут она разводила

руками и улыбалась нам, обнажая золотые зубы, чарующей улыбкой, дескать, не все в моей власти и вы сами во всем виноваты.

Да это у нас и по сей день так: где бы ты ни воевал, ни работал, где бы ни служил, ни ехал, ни плыл, в очереди в травмопункте или на больничную койку ни стоял — всегда ты в чем-то виноват, всегда чего-то должен опасаться и думать, как бы еще более виноватым не сделаться, посему должен выслуживаться, тянуться, на всякий случай прятать глаза, опускать долу повинную голову — человек не без греха, сам в себе, тем более в нем начальство всегда может найти причину для обвинения. Взглядом, словом, на всякий случай, на «сберкнижку», что ли, держать его, сукиного сына, советского человека, в вечном ожидании беды, в страхе разоблачения, устыжения, суда, если не небесного, то общественного.

В конце беседы обворожительная дама обязательно поправляла заботливо на ком-нибудь из раненых одеяльце, подтыкала подушку, и непременно находился доверчивый бедолага с дальних таежных деревень родом, всегда и до конца верящий молитве Божьей и слову «полномочных» людей:

— Меня, родная дамочка, меня-то эвакуируйте ради Бога. Обоих ног нету, а с миня ботинки требуют. Помру ведь я тут без молитвы и причастия...

— Ф-фу, какой паникер! Да еще и в Бога верующий!.. Поможем вам, поможем... Наша обязанность, как и у богов, х-хы, шучу, помогать страждущим, и только страждущим!.. — А сама под одеяло зырк, за руку человека цап, пульс сосчитает, за лоб его пощупает, глядишь, и поплыл крестясь, с молитвою на устах суеверный таежник на носилках. На груди у него ботинки курочками сидят — не важно, какие, какого износа и размера, не важно, что на одну они ногу, лишь бы для отчета годились. Прижимая к груди драгоценную обувь, сипит благодарствия дрожащим голосом человек. Сбыла его дамочка в санпоезд, а там — спасут так спасут. Но может путь его оборваться, и сдадут бедолагу где-нибудь ночью, на большой станции, похоронной спецкоманде, и будет он зарыт в безвестном месте, безвестными людьми, на безвестном кладбище... И тут же всеми забыт, кроме обездоленной русской семьи, потерявшей кормильца, который с носилок еще рукой пытается помахать и плачет:

— До свиданья... товаришшы. Желая и вам поскорейча... Гражданочке-то той благодарствие передавайте... мол, Пров Пивоваров, сапер, на mine подорвавшийся... с Ангары родом... Не забудьте, товаришшы... Простите, если што не так, што поперед вас выпросился... Невмочь мне. С Богом!..

— С Богом! — прервут винащегося перед всеми, на смертном одре совестьящегося человека сострадательные бойцы и, чтоб не ушибли, не уронили с носилок бедолагу, помогут его спустить по лестнице донизу, этого вот и до вагона помогли донести.

В три-четыре дня ребята что побоевей объединялись в артель или в боевое отделение, соединялись койками и сиденьями. У кого нож, у кого пистолет, у кого и кулак еще в силе — только так, только боевой, организованной силой можно было противостоять здешней злой силе, вероятно спаявшейся и снюхавшейся с бандами бандеровцев и польских националистов. Наша артель пробилась на перевязки, достала кое-что из амуниции, вина не пила, в карты не играла, бодрствовала по переменке. Однажды возле меня закрутился, завертелся цивильный полячок в грязном халате, выносивший судна, утки, подтирающий мокрой шваброй полы. Все время он чего-то менял, приносил, уносил. Я понял, что ему приглянулись мои сапоги. Бойцы нашего вновь сформированного, стихийного соединения с надеждой глядели на меня, да и знал я, что вот-вот лишусь сапог, уже орали тут какие-то ухари: «Всем, кто не имеет офицерского звания, форму и погоны офицеров сдать, получить на складе вместо сапог ботинки и обмотки. За утаивание...»

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.